

Борис  
Васильев  
★  
ЗАВТРА БЫЛА  
ВОЙНА

Неопалимая купина  
Суд да дело  
и другие рассказы  
о войне и победе

★  
*Б. Васильев*

# **Борис Львович Васильев**

## **Неопалимая купина**

*Текст предоставлен издательством*

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=137109](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=137109)*

*Борис Васильев. Собрание сочинений в 12 томах. Том 2. Завтра была война. Неопалимая Купина.*

*Суд да дело и другие рассказы о войне и победе: АСТ, Астрель; Москва; 2010*

*ISBN 978-5-17-063440-8, 978-5-271-26017-9*

## Содержание

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Неопалимая купина                 | 4  |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 16 |

# Борис Васильев

## Неопалимая купина

Детей у нее не было.

Были три ранения (два легких и одно тяжелое), были контузия и два инсульта. Были три ордена – Отечественной войны I степени и два Красной Звезды. Были медали – две «За отвагу» и одна «За боевые заслуги». Были всяческие значки, билет инвалида Великой Отечественной войны, право ношения формы в День Победы, комната в двухкомнатной квартире, хорошие, прямо как родные, соседи и бездомная студентка Тонечка.

А вот детей у Антонины Федоровны Иваньшиной никогда не было. Один раз, правда, началась в ней иная жизнь, и она счастлива была без меры и только боялась признаться ему, любимому, виновнику этой иной жизни, чтобы не отправили в тыл, чтобы не разлучили раньше времени. Но все равно разлучили, только зря хитрила. Пуля разлучила. Убила и любовь ее единственную, и все надежды разом. Отрыдалась тогда Антонина и пошла к врачу.

– Вырезайте.

– Лейтенант Иваньшина, подумайте...

– Мне воевать надо, а не рожать. Я этому больше обучена.

– Антонина, пойми, это же очень опасно для будущего. Ты женщина, у тебя есть долг.

– Рожать – это не долг, это физиология. Долг – умирать, когда не хочется.

Да оно бы, может, и это обошлось, если бы не то болото в апреле. Сутки пролежала в нем: не подстрелили, не оглушили даже, а через три дня – боли, температура, госпиталь. Воспаления, осложнения да вещмешок лекарств.

– Не все еще потеряно, Иваньшина. Лечение, режим, санатории. Надо бороться с недугом.

– Поживем – увидим, товарищ полковник медицинской службы. А пока будем воевать.

А через полгода – контузия. Сухим закаменелым комом – точно в поясницу, в позвонок, и будто переломили ее тогда: до сей поры боль та помнится. Три часа отлеживалась, а потом поднялась кое-как.

– Вперед, мужики, вперед, родимые. Нам высотку приказано взять, и я ее возьму. Что, славяне, смотреть будете, как баба под пули ползет?

Это всегда действовало, и все об этом знали. Комбат как-то отказался ее роту старшему лейтенанту из пополнения передать, и командир полка поддержал его:

– Лучше Иваньшиной командира роты у меня в полку нет.

Но все кончается, даже война, а миру не нужны командиры рот в юбках. В атаку больше поднимать нет надобности, и все мужики сразу становятся очень смелыми. И в августе сорок пятого командир стрелковой роты старший лейтенант Антонина Иваньшина прибыла в распоряжение военкома родного города. Через город тоже прошла война, почти все в нем сгорело или было взорвано, родные и знакомые исчезли бесследно и навсегда, и старший лейтенант Тонечка жила в подвале, где размещался горвоенкомат. Получила по вещевому довольствию два одеяла, постельный комплект и подушку. Утром прятала в шкафу с несекретной перепиской, вечером расстилала на военкомовском (самом большом) столе – и до утра на одном боку. Даже сны не снились: отсыпалась Иваньшина за всю бессонную войну.

– Антонина, чего учиться не идешь, чего вола крутишь?

Военком был грузен, сед и сипат, с простреленными еще на Гражданской легкими («Это у вас они – легкие, – шутил, бывало, – а у меня... как свинцовый сурик»). На фронт его не пустили, и поэтому он хмуро опекал фронтовиков вообще и Антонину в частности.

– Демобилизуют не сегодня, так завтра, и куда ты тогда?

– Строить, товарищ майор. Гады всю страну пожгли да порушили. А учится пусть тот, кто настоящего дела боится.

Вздыхал военком, спорить сил не было. Убили его силу: старшего сына – в сорок втором на Дону, младшего – в сорок пятом на Одере. А в Антонине еще фронтовой завод не кончился. Еще рвалась куда-то, еще в бриджах ходила, еще пистолет на ночь под подушку клала. И темной октябрьской ночью привычно рванула его оттуда:

– Кто? Стреляю!

– Свои. Не пальни с перепугу.

Щелкнули выключателем: у порога стоял лейтенант-связист с тощим солдатским вещмешком. С плащ-палатки на каменный пол весело капала вода.

– Крючок на дверях послабее твоего храпа, старший лейтенант.

Антонина сидела на застланном одеялом столе. На ночь она снимала сапоги да китель, привычно носила офицерские нижние рубахи и сразу сообразила, что лейтенант принял ее за парня.

– Лейтенант Валентин Вельяминов прибыл в ваше распоряжение. На вокзале яблоку упасть негде, на улице – дождь, так что разреши с тобой переночевать.

Сказав это, Валентин снял плащ-палатку, повесил ее у входа, положил на соседний стол вещмешок, поставил в ряд стулья.

– У тебя шинель найдется, старшой?

– В шкафу, – помедлив, недовольно сказала она и обиженно добавила вдруг: – Только я не храплю.

– Я иносказательно. – Лейтенант достал шинель, хотел постелить на стулья, но как-то странно взвесил на руке, ошалело глянул на Антонину и спросил неуверенно: – Ты... то есть вы...

– Свет погаси! – резко перебила Иваньшина и упала лицом в подушку, чтобы заглушить хохот.

Так они познакомились. Лейтенанту Вельяминову было абсолютно все равно, где служить, поскольку и у него никого из родни не осталось, но выбрал он именно этот город, потому что отсюда родом был его фронтовой друг, обидно погибший на закате войны.

– Проживал по Вокзальной улице, двадцать семь.

– Иваньшина покажет, – сказал военком. – А жить будешь в офицерском резерве, нечего нам крючки ломать.

По дороге на Вокзальную улицу возникло затрудненное молчание. Им еще непросто было вдвоем, и Валентин начал длинно рассказывать о матери – преподавателе литературы и об отце – директоре подмосковной школы, ушедшем в ополчение вместе со своими десятиклассниками.

– А ты не пошел, – уточнила Иваньшина.

– Не взяли. Я двадцать шестого года, и меня отправили в эвакуацию, а мама осталась. Она почему-то была уверена, что отец вернется.

– В сорок первом не возвращались.

– Да, вы правильно говорите.

– Вы? – Антонина усмехнулась. – А ночью братишку изображал. И имя у тебя какое-то...

– Какое?

– Девичье, вот какое. Валя, Валечка. У нас в полку была одна такая Валечка. Начштаба с собой таскал, пока я члену Военного совета не доложила.

Никакой Валечки в полку не существовало, начштаба никого с собой не таскал, и ничего командир роты Антонина Иваньшина члену Военного совета не докладывала,

поскольку и видела-то его всего два раза издалека. Но ей вдруг захотелось позлить вежливо-спокойного лейтенанта, надерзить ему, обидеть, заставить рассердиться.

– Да, да, чего глаза вылупил? Доложила в письменной форме, как положено, рапортом. И Валечку эту – фьюить! – коленом под зад!

– Как? Как же вы могли? – Вельяминов даже остановился. – А если они любили? Если это была любовь? Вообще лезть в чужую жизнь...

– А пусть нас не пачкает! – Антонина очень боялась рассмеяться и поэтому орала чушь, но орала зло и неожиданно. – Мы не за тем на фронт шли, а из-за таких, как эта, твоя...

– Моя? – тихо удивился он. – Ну почему же моя? Где логика?

Они стояли посреди грязного пустыря, заваленного осколками кирпича, битым стеклом и ржавым железом. Антонина еще сверлила лейтенанта хитрыми глазами, но молчала, сообразив, что хватила через край.

– Терпеть не могу интеллигентов, – вдруг объявила она, решив кусать его с другой стороны.

– За что? – Он глядел на нее без всякого гнева, а Иваньшиной позарез необходимо было, чтобы лейтенант рассердился, вышел из себя, может быть, даже выругался. – За то, что они вас учат, лечат, развлекают?

– А не надо, не надо меня ни учить, ни лечить. Не надо, я сама как-нибудь. Уж как-нибудь.

– Что сама? Что сама? Что сама, что как-нибудь? Дура ты, оказывается.

И пошел, спотыкаясь, прямо в развалины. Антонина, кусая от смеха губы, обождала, пока он выдохнется на скользких кирпичках, крикнула:

– Эй, лейтенант! Валентин! Ты не в ту сторону пошел. Ты ко мне сперва вернись.

Он постоял, всей спиной демонстрируя огромное разочарование. Потом вернулся, сказал с горечью:

– И откуда ты такая взялась, интересно? Реликт эпохи военного коммунизма.

– Тебе Вокзальную? Ну так мы на ней стоим. Красивый пейзаж? А ты говоришь – учить, лечить да развлекать.

Так они встретились, и так они подружились. Вместе работали, но оба считали, что видят друг друга только по вечерам, когда кончалась служба, когда оставались одни и можно было вести неторопливые беседы, которые неизменно заканчивались спорами и ссорами. Стояла глухая припозднившаяся осень, в подвале было сыро, и Антонина как-то незаметно для самой себя раздобыла керосинку, чайник и даже одну кастрюльку. Она мерзла, но считала, что согреть надо его; голодала, но варила картофельную баланду тоже только для него. Она обрастала бытом и заботами естественно и с удовольствием, но была убеждена, что главное – это их разговоры.

– Знаешь, чем страшна война, кроме жертв, разрушений, горя? Тем, что лишает человека культуры. И не просто лишает, а обесценивает, уничтожает ее.

– Почему это? Сколько на фронте концертов было, артисты приезжали, а ты говоришь.

– Концерт – знак культуры, а я говорю об атмосфере, в которой живет современный человек и без которой он превращается в животное. Культура поведения, культура знаний, быта, общения, то есть культура каждого дня – вот чего лишает нас война.

– Да что мы, на войне некультурно вели себя, что ли? Ты, Валентин, говори, да не заговаривайся.

– Я же не о том, Тоня.

– Ладно, помолчи уж. Ешь вон картошку, пока горячая.

Ворчливо кормила лейтенанта Вельяминова, подкладывая получше да повкуснее. Ей нравилось его кормить, поить чаем, даже ворчать на него нравилось.

– Если все учеными станут, что будет-то?

– Не знаю, но уверен, что замечательно. Представляешь, все вокруг грамотные, вежливые, воспитанные. Вот почему нам учиться необходимо, Тоня. И самим учиться, и других учить. И ты времени не теряй и иди в институт, пока не все еще перезабыла. Я в тебя верю.

Военком приглядывался молча, но внимательно. А приметив, что вместо бриджей появилась юбка, сказал с глазу на глаз:

– Комната тебе нужна, Иванышина.

– Зачем...

Начала она с привычной агрессивностью, но примолкла и неожиданно покраснела. А майор вздохнул, потрепал ее по коротко стриженной голове и прекратил этот разговор. И ей было радостно, что многое он угадал, и стыдно, что не хватило у нее офицерской выдержки не покраснеть при этом.

Через месяц старого военкома демобилизовали, но он успел сделать все. К тому времени в городе что-то сумели подштопать, подремонтировать, восстановить, и бывший командир роты старший лейтенант Иванышина с учетом ранений, контузий, наград, заслуг, а также для устройства личной женской судьбы вскоре получила комнату. И с ордером в руках ворвалась в общежитие офицерского резерва. Лейтенант Валентин Вельяминов собирал немногочисленные пожитки и улыбался. Он и слова не дал сказать: обнял, расцеловал, закружил. Сердце в ней оборвалось: ведь впервые обнял, впервые расцеловал, впервые закружил...

– Милый ты мой старший лейтенант Тонечка, я невесту свою отыскал. Она только что из эвакуации вернулась и ждет меня. Ждет, Тонечка!..

И еще раз все в ней оборвалось. На этот раз с болью, от которой орать хотелось. Но удержалась, ордер спрятала, руку пожала, даже улыбку кое-как изобразила:

– Вот и хорошо. Поезжай. Обязательно. Я ведь тоже. Попрощаться зашла. Уезжаю. К мужу. Да. Муж у меня.

И вышла. Неделю из собственной, военкомом для ее счастья выхлопотанной комнаты не выходила. Въезжали соседи, праздновали новоселье, к ней стучали, а она молча лежала на шинели, брошенной в углу. Семь дней лежала, ничего не ела, только пила, слушая, как ноет сердце и тупо болит позвоночник, в который угодил когда-то ком твердой, как камень, смерзшейся глины. Вышла, когда зарубцевалось и это ранение, когда выработала, продумала, внушила себе железное правило: любви для нее нет и никогда не будет. Все, точка на этом вопросе. А вскоре и ей пришел приказ об увольнении в бессрочный отпуск из рядов Советской Армии.

– Что думаешь делать, Антонина Федоровна, чем заняться?

– Учиться хочу. На заочном или вечернем.

– Трудно.

– Не труднее, чем воевать. – Антонина говорила тускло, незаинтересованно, но упрямо. – Справимся.

– Не скажи, – вздохнул секретарь горкома, которому она пришла представляться после демобилизации. – В пединститут согласна? Тогда считай себя студенткой. А работать...

– В школу пойду, уже договорилась. Старшей пионервожатой, а заодно и военруком.

– Военруком, – усмехнулся секретарь. – Какой тебе военрук, Иванышина? Кончилась война, так ее и разэтак.

– Нет, – сказала. – Знаете, когда она кончится? Когда последний из тех помрет, кто под бомбами землю грыз. Вот тогда она кончится, наша Великая Отечественная.

Учение давалось с большим трудом, и не поначалу, а вообще всю жизнь знания доставались ей с бою, ценой огромных усилий и огромной усидчивости, и Антонина всегда помнила о чрезвычайно высокой цене собственных знаний. И в этом заключалось великое ее счастье, потому что и в мирной жизни старший лейтенант Иванышина продолжала, стиснув

зубы, упорно карабкаться наверх, а не весело и легкомысленно скользить с уже захваченных высот. Это подкрепляло характер, а не ослабляло его, прибавляло уверенности если не в своих способностях, то в своих силах, которые куда важнее способностей, потому что никогда не подводят. Проверено, и точка.

– Тонь, пошли вечером на танцы?

– Нет, Юра, нельзя мне. Недопоняла я одного момента, подзубрить требуется.

– Это для курсовой, что ли? Так я тебе все в пять минут разъясню!

– Мне, Юра, не разъяснения нужны, а исключительно личное понимание.

Два раза в институте парни делали предложения, и дважды она сама от любви, семейной жизни и женского счастья отказывалась. Тут же переводила разговор, твердила, что чего-то недопонимает, что где-то что-то надо доделать, додумать, выучить, а на самом-то деле совсем о другом думала. О лейтенанте Вельяминове и его ликующем, вновь обретенном счастье. И еще о болотце в апреле и о сухом ударе в позвоночник. Об этом она никогда теперь не забывала и добровольно ставила крест на собственной судьбе.

Однако природе не закажешь, да Антонина и заказывать ничего не собиралась. Тело помнило мужскую ласку, и коли требовало ее, то с полным правом. Благо была у нее своя комната в двухкомнатной квартире – небывалое счастье по тем временам! И еще она всегда помнила об избранной профессии и встречалась только с теми, кто никак не мог похвастаться в учительской. Этот принцип Тоня соблюдала жестко и неукоснительно, и поэтому и в институте и в школе ее считали недотрогой, сухарем и чуть ли не старой девой. Впрочем, сухарем ее считали даже те, кому она отдавала всю жажду усталого тела, потому что Антонина, соблюдая отданный себе же приказ «любви нет», более всего боялась еще раз влюбиться и нарочно командовала:

– Говорить шепотом, соседи за стеной. За громкий смех выгоняю без промедления, ясно?

Подобного руководства не выносят никакие мужики, ну а те, которые сами командовали, те, которые чудом дожили до Победы, померев до нее и за нее бесчисленное число раз, те выдерживали от силы две-три ночи, благо женщин, готовых восторженно подчиняться, было сотни на одного уцелевшего. Нельзя сказать, чтобы Тоню радовали эти внезапные исчезновения, но, утаив горечь на дне души, она и в этих обстоятельствах выискивала рациональное зерно.

– Ушел, ну и черт с ним. Этак еще и вправду влюблюсь.

Но это все – между делом. Делом была очередная высота, которую сама же решила взять: институт. А учение давалось немыслимым напряжением, но Антонина лезла на свою высоту, стиснув зубы, недосыпая и недоедая. И непременно пересдавая все тройки: это запрещалось правилами, но, нахватав в первой сессии этих самых троек, Иваньшина решительно пошла к ректору.

– Отчисляйте к чертовой матери. Неспособна.

– С чего взяли? У вас все сдано.

– На тройки? Так они мне эти тройки из жалости ставят, ясно? А мне жалость не нужна. Так что либо отчисляйте, либо дайте право все тройки *обратно* пересдавать.

– Это нарушение.

– А когда бабы ротами командовали – это как, не нарушение? Ну и нечего мне законами в нос тыкать.

Разрешили. Самолюбивая до болезненности, Антонина старалась по возможности не пользоваться этой особой льготой, но иногда приходилось: историю древнего мира, к примеру, три раза пересдавала, пока четверку не заработала. Она уж ее, историю эту, почти наизусть выучила, а вот с датами никак не справлялась: не могла сообразить, каким образом



дата рождения всяких там Периклов, Ганнибалов, Спартаков да Александров Македонских в абсолютном цифровом выражении больше, чем дата смерти.

– Ну это же все – до нашей эры, понимаешь? Потому и считают наоборот.

– Какой же может быть оборот во времени?

– Условность такая, Антонина. От новой эры – плюс, до новой – минус. Ну, от рождения Христа.

– Ты мне башку не морочь, он же легендарный.

За разъяснениями она обращалась только к мужчинам, хотя в педвузе их было очень мало. Не потому, что презирала девчонок – она не презирала, а жалела их, – а потому, что чувствовала себя неизмеримо старше. Старше даже тех, кто годами обогнал ее, будто время, которым измеряла она собственную жизнь, тоже считалось «наоборот», как до нашей эры.

Девочки ее побаивались. В подругах никто не числился, но наиболее бессовестные беззастенчиво пользовались ее добротой и ставшим уже смешным, но упорным нежеланием считать – деньги ли, продукты или лимитные книжки, которые ей выдавал военкомат вплоть до денежной реформы, когда отменили карточки, пайки, лимитные книжки, а деньги меняли один к десяти. Она делилась последним, а то и просто отдавала это последнее по первой же просьбе или без просьбы, вдруг.

– Мне чулки шелковые выдали, а у тебя ноги красивые. Держи.

– Что ты, что ты! А сама как же?

– А мне к чему? Все равно в сапогах.

«Контуженая!» – хихикали пройдошистые, не понимая, что старший лейтенант Иванышина беззаветно щедра не вследствие контузии, а потому, что фронт научил ее ценить только абсолютные ценности на всю оставшуюся жизнь.

– Пальтишко купи, простудишься. Держи сотню, больше нет.

– Ой, Тонь, я же отдать не смогу.

– А ты не отдавай. Ты пальтишко купи.

Очень уважали ее в институте. Любили, правда, куда меньше за резкость и колючесть, но уважали, а старый историк на празднике 7 Ноября сказал, расчувствовавшись:

– Неопалимая вы наша купина, товарищ Иванышина. Настоящая советская неопалимая купина!

Тоня сначала хотела рассердиться на религиозное сравнение и посадить профессора на место, но ей успели вовремя растолковать, что неопалимая купина – это просто-напросто такой куст, который в огне не горит. И Тоня кивнула коротко и решительно: «Точно, мол, мы в огне не горим и в воде не тонем». И осаживать профессора воздержалась.

А прозвище «Неопалимая купина» на некоторое время в пединституте за нею закрепилось. Не столько потому, что первым назвал ее так старый сентиментальный профессор, а потому, что в «Комсомольской правде» вскоре появилась большая статья под таким названием. О ней статья, об Антонине Иванышиной, командире стрелковой роты заштатного стрелкового полка еще более заштатной стрелковой дивизии. Статью привязали к Международному женскому дню 8 Марта. Тоне это не понравилось, под горячую руку она собиралась написать резкое письмо в редакцию насчет граф, параграфов и рубрик, соотнесенных со всякого рода датами, но не успела, поскольку сама получила послание.

«Дорогой мой старший лейтенант Тонечка!

Мы с женой прочитали в газете статью о тебе: ты и вправду Неопалимая Купина Великой Отечественной войны. Как живешь, где трудишься, вспоминаешь ли о лейтенанте Валентине Вельяминове...»

Два дня Антонина на занятия не ходила: перечитывала каждую строчку, всплакнула даже. Ответ собиралась писать, да тут вдруг вызвали повесткой в горвоенкомат. Явилась, как приказано.

– Возможно, путаница? У меня инвалидность.

– Товарищи офицеры!

Замерли присутствовавшие в кабинете офицеры. А сам военком – боевой полковник (новый, Тоня его не знала) строевым подошел. Громко, как на параде:

– По поручению Президиума Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик...

Словом, награда нашла героя: за последний бой – тот, в котором сухим комом в позвоночник, – старшего лейтенанта Иваньшину Антонину Федоровну наградили орденом Красной Звезды. А вручить не успели: в госпиталь комроты угодила. А там и война кончилась.

– Разрешите по-фронтовому орден отметить, товарищ полковник?

– А как же! Непременно по-фронтовому.

После работы собрались. Нашли котелок – натуральный, солдатский. Бросила в него Антонина новенькую «Звездочку», вылила поллитра. И полковнику протянула первому. Как положено было на фронте.

– За тебя, – сказал военком, двумя руками держа котелок. – Дай бог, как говорится, не последний тебе орден в жизни.

Сделал добрый глоток, передал по кругу. И каждый из офицеров говорил ей хорошие слова и торжественно, будто причащаясь, прикивал к котелку, на дне которого серебряно позвякивал боевой орден.

Полковник понравился Антонине. И говорил толково, и не выпендривался, и мужиком был боевым и видным, и даже на нее клюнул с ходу. Клюнул, что называется, с первого глотка; Тоне было очень приятно и немного грустно, потому что воспользоваться мгновением она уже не могла. Некуда стало заполучать их, боевых соратников.

Случилось так, что, возвращаясь с институтского новогоднего бала в пять утра, Тоня неподалеку от общежития встретила тихо, устало и безнадежно плачущую девчонку-первокурсницу. Девчонка сидела на чемодане, шмыгала носом, продрогла в легком пальтишке и, видно, отчаялась вконец. Естественно, Иваньшина никак не могла пройти мимо, хотя шла не одна, а с аспирантом, который давно за нею ухлестывал. Ничего был мужик, воевавший, комбат образца сорок четвертого. Тоня года два держала его на расстоянии, поскольку свято блюла принцип «только не со своими», а на балу расчувствовалась и – решила. А тут девчонка.

– Чего сидишь, чего реवेशь? Да не бойся, Иваньшина я, Тоня, меня все в институте знают.

– Хо-хозяйка вы-выгнала. Я ей за п-полгода вп-перед заплатила, а она взяла да вы-выгнала.

– Вот сука! Где живет? Сейчас я ей пару ласковых...

– А мне куда же? – продолжала свое девчонка. – Я приезжая, папа на фронте погиб, а мама...

– Кончай рев. Ну, кому сказала? Как тебя? Зина? – Обернулась к аспиранту: – А ты чего ждешь, кавалер? Хватай мешки, вокзал тронулся. Ко мне все волоки: закусим, согреемся, а там разберемся. Так-то, Зинка-корзинка. Держись за меня, скользко.

Выпили они тогда чайник под кастрюлю картошечки, согрелись; аспирант ушел несо-лоно хлебавши, а Зиночка-корзиночка осталась.

Странно, Антонина об этом не жалела ни тогда, ни потом. Будто перепрыгнула на ходу из одного грузовика в другой, идущий совсем в иное «хозяйство».

А все потому, что Зиночка-корзиночка оказалась абсолютно неприспособленной к жизни. Могла проспать начало занятий, вовремя не позавтракать или не поужинать, могла легко одеться в мороз, забыть о простых чулках или шерстяных рейтузах и вообще простудиться могла. И за всем теперь приходилось следить Антонине; она ворчала, сердилась,

командовала, кормила завтраками и ужинами, огорчалась и радовалась, плакала и смеялась, с каждым днем все больше привязываясь к своей несмышленной квартирантке. И эта постоянная, уже не ежедневная, а ежечасная возня с неумехой-первокурсницей постепенно настолько заполнила ее жизнь, что ни на что другое у Иванышиной уже не оказалось ни времени, ни сил, ни желаний.

– Почему поздно домой заявила? Парня завела? Покажешь.

Господи, да какие же они смешные, какие доверчивые и глупенькие эти разнесчастные девчонки, которым так хочется хоть чуточку, хоть капелечку любви и счастья! Ну как можно отправлять их без присмотра на учение в город, где столько соблазнов, столько парней и мужиков, которые все готовы сделать, абы сорвать первоцвет да ноги унести. Нет, пропадет без нее Зиночка, это же ясно. Ни за понюх пропадет!

– Позже одиннадцати домой приходите запрещаю. Категорически, Зинаида, ясен приказ?

Вот так за домашними хлопотами и подошли госэкзамены, а там и выпускной вечер, и бывший командир стрелковой роты старший лейтенант Антонина Федоровна Иванышина стала дипломированным преподавателем истории в средней школе № 22, что по улице Фрунзе. Историчкой, выражаясь школьным языком. Тоня проходила в той школе практику и стажировку, а теперь добросовестно готовилась к своим урокам и сумела навести порядок в классе, но дети ее не любили. Нет, они никак не выражали своей нелюбви, были ровны и в меру послушны, но Тоня... виноват, теперь уж Антонина Федоровна постоянно ощущала нелюбовь... Но не расстраивалась: у нее было кого любить и о ком заботиться, а дети... Что же, главное – дисциплина. Дисциплина, послушание, успеваемость. Она обладала достаточным запасом воли, властности и командного опыта, чтобы требовать и добиваться, и она требовала и добивалась, а дети ее не любили.

– Антонина Федоровна, извините меня, бога ради, но обязана сказать. Обязана. Не любят вас дети. Да. Огорчительно очень, но не любят во всех классах, вы уж простите меня, пожалуйста.

– А на черта мне их любовь, Мария Ивановна? Не жениться пришла, а преподавать историю.

– И еще – воспитывать. А вы так... гм, странно выражаете свои мысли. А ведь мы детей воспитываем, голубушка Антонина Федоровна. А воспитание без любви...

– Я мужиков воспитывала. Сто двадцать душ за три месяца формирования. В полном порядке были и без всякой любви, не беспокойтесь.

– Так то мужики... – застенчиво вздыхала старая учительница.

Завуч Мария Ивановна была представительницей воспитательного направления, предусматривающего неременную взаимную любовь между учителем и учениками и основанное на этой любви беспредельное доверие. Но послевоенные дети, в лучшем случае имеющие отца-инвалида, а чаще давно уж потерявшие отцов, были в большинстве плаксивыми, взнервленными, неуравновешенными – обожженными войной, короче говоря. Естественно, никто не мог предполагать, к каким последствиям может привести массовая безотцовщина эта, но Иванышина, обладая командным опытом, почувствовала неладное и старалась держаться посуровее. Нелегко давалось ей это, а особенно дружная нелюбовь детей, немало слез пролила она, но истинная трагедия подкрадывалась совсем с другой стороны.

– Тонечка, я выхожу замуж!

– Как так – замуж? Тебе еще год учиться.

– Тоня, он чудный, чудный! Помнишь, я приводила его? Он в электротехникуме учится, уже оканчивает, и мы решили...

Села историчка Антонина Федоровна на стул возле дверей, выронив переполненные авоськи.

– Как же так? Я не понимаю. Как же так, а? Тебе еще целый год учиться...

– Так ведь люблю я его. Люблю, Тонечка!

Обняла, расцеловала, прижалась – родная, глупенькая, доверчивая. И заплакали обе: одна – от счастья, другая...

– Может, обождешь? Может, доучишься сперва?

– Ах, Тонечка, да ведь в Саратов его распределили. А у него там тетка с квартирой, и она нас к себе зовет, и там я институт окончу.

– Ах ты, Зинка моя, Зиночка, Зиночка-корзиночка...

– Тонечка, это же чудесно, это же замечательно, и я такая вся счастливая-счастливая!..

Никогда ничего не теряла Антонина Иваньшина с таким тоскливым, безнадежным отчаянием – даже лейтенанта Вельяминова. А горечь фронтовых потерь вообще была принципиально иной, ибо там, за горем, стоял его виновник, нелепость случайности, рок («ведь почему-то именно его, а не...») и, наконец, жажда мщения и полная возможность утолить эту жажду. Кроме того, боевые потери переживались сообща, горе роднило, а не разъединяло, плечо товарища ощущалось не метафорой, а вполне реальной опорой. Фронтовое братство являлось самым действенным лекарством против любой, самой ужасной, самой нелепой трагедии.

Мирные утраты били прежде всего в ее одиночество. Их не с кем было разделить, и оказались они сугубо личными. Личными потерями бывшего старшего лейтенанта Тони Иваньшиной: она впервые испытала их затяжную боль.

– Ах ты, Зинка-корзинка!..

С тоски Антонина на три дня бюллетень взяла и долго еще курила по ночам. Конечно, она никогда, ни разу и ни в чем не упрекнула свою Зиночку: молодое счастье всегда эгоистично, и в этом эгоизме его радостная и всепоглощающая сила. Зинаида должна была поступить так, как поступила, – у Тони не было никаких сомнений на этот счет, – но это никоим образом не облегчало ее состояния. И бывший командир стрелковой роты снова глухо рыдала в подушку, яростно презирая себя за такую слабость.

А потом пришла в пединститут, который окончила три года назад. Поговорила с педагогами, познакомилась с девчонками-первокурсницами, поболтала с ними, посмеялась. Неделью выясняла и приглядывалась, а там пригласила к себе на все время обучения самую тихую и незаметную, у которой – как, впрочем, и у многих в те времена – отец погиб в самом конце войны.

Так возникла система, в которой Антонина находила и радость, и смысл собственного существования. Она с материнским самопожертвованием кормила, поила, одевала и согревала своих квартиранток, как их называли соседи, а на самом-то деле никаких не квартиранток, а временных дочерей, что ли, или, по крайности, младших сестреночек. Материнский инстинкт требовал выхода, действий, забот и хлопот, и она была безмерно счастлива, что может кого-то кормить, на кого-то ворчать, кому-то стирать и штопать, с кем-то говорить и смеяться, а иногда – правда, нечасто – даже ходить в театр. И никогда не возникало у нее ни конфликтов, ни ссор со своими воспитанницами: то ли везло, то ли нюх у нее был на хороших людей.

Правда, этот нюх однажды подвел ее. Подвел жестоко, неожиданно и столь несправедливо, что Антонина пережила собственную ошибку как самое тяжелое из своих ранений.

Но сначала о соседях, иначе непонятными окажутся не только горькая осечка с избранной воспитанницей, но и вся дальнейшая история жизни и смерти Антонины Иваньшиной.

Стало быть, старший лейтенант Иваньшина с учетом фронтовых заслуг, ранений, женского своего естества и полной бездомности получила жилплощадь с помощью старого военкома еще в те времена, когда только-только начинали что-то чинить, а о том, чтобы строить, еще и мечтать не смели. Ей выделили комнату в двухкомнатной квартире почти в центре

города, но в деревянном, чудом уцелевшем в пожарах войны двухэтажном доме. Одновременно в соседнюю комнату тогда вселилась большая и чисто женская семья: матери, дочери, бабки и внуки и – ни одного мужика. Ни мужа, ни отца, ни брата, ни сына – кого убили, кто сам помер, а кто и сбежал от всей этой чересчур уж громкой, плаксивой, истеричной бабской оравы. Мужиков не оказалось, а тоска по ним осталась, чем и объяснялось особое, пронзительное любопытство соседей. За Тоней и за ее гостями-мужчинами следили, затаив дыхание, из всех щелей, и лейтенант Иваньшина ненавидела своих соседей настолько холодно и презрительно, что даже не знала их точного числа. Так сложилось с первых дней, так и продолжалось потом, когда место нечастых мужчин заняли девочки-студентки. И здесь соседки поначалу никак не желали оставлять ее в покое, непрерывно жалуясь в милицию, что Иваньшина сдает непрописанным гражданкам углы и живет на нетрудовые доходы. Участковый несколько раз проверял эти жалобы, но девочки оказывались студентками и клятвенно заверяли, что хозяйка не берет с них ни копейки. В такие клятвы умудренный жизнью участковый давно не верил, но Иваньшина была фронтовичкой, и беспокоить ее расспросами он не стал. Он вместо этого провел суровую воспитательную беседу с кляузными соседками, доведя их до слез и чистосердечного признания.

– А почему это она одна в четырнадцати метрах, а мы пятеро в семнадцати?

– А потому, что она клеветой в адрес заслуженных советских граждан не занимается, – резонно объяснил милиционер и навсегда снял этот вопрос с повестки дня.

Вся эта сквалыжная возня привела к тому, что Тоня решительно вычеркнула соседей из своей личной жизни, проходя сквозь мам, дочек, теток и бабушек как сквозь объекты бестелесные и как бы вообще не существующие. И так шло: она жила своей жизнью, они – своей. Умирали, уезжали, ссорились, болели, выздоравливали, а потом вдруг съехали. И только когда переезжали, Антонина и обратила на них внимание: уж очень громко вещи перетаскивали.

Соседи исчезли, наступила тишина: комната долго стояла пустой. Потом появился управдом и с ним молодой, простой и приятный парень с обезоруживающей улыбкой.

– Беляков Олег. Ордер вот получил. Соседом вашим буду.

Но до того, как стать соседом, требовалось сделать ремонт. Олег разыскал мастеров, каждый вечер приходил убирать за ними и убирал, надо сказать, очень старательно. Раза два или три он появлялся с женой – по виду так совершеннейшей девчонкой, которая придиричивой Антонине понравилась. Это уже было после института, уже лет двадцать, что ли, прошло, и у Иваньшиной сменилось несколько воспитанниц. Они уезжали всегда в слезах и долго писали письма. Сначала часто, потом реже, потом... Но Антонина не обижалась: понимала, что заматались ее девчонки между семьей и школой, между детьми и мужем, между домом и работой. Она все понимала, хотя веселее ей от этого не становилось.

В то время у нее жила Лада, Ладочка, Ладушка – ласковое и обаятельное создание, состоящее из сплошных кругов: круглое личико, круглые глазки, круглые ушки, круглый ротик и даже кудряшки над круглым лобиком были круглыми. Это умиляло само по себе, но на третий день их совместного житья Антонина умилилась беспредельно.

– Можно, я буду называть вас мамой?

Ладочка была из маленького районного городка, а мечтала работать здесь, в областном. Она часто говорила о своей будущей работе, о взаимоотношениях с учениками («Мы, конечно же, будем друзьями, но я сразу покажу характер. Верно, мамочка?...»); о будущих сочинениях («Я не хочу казенщины: образ Татьяны... и так далее. Я хочу, например, такую тему: женщины в творчестве и жизни Александра Блока. Правильно, мамочка?...»); и даже о будущих сослуживцах («Из всех коллективов учительский мне представляется самым нравственным. Я права, мамочка?...»). Ах, как была счастлива «мамочка»! Ее никто никогда так не называл и – она знала – никогда так не назовет. Нет, нет, все предыдущие ее девочки

были прекрасными, они давали столь необходимую ей возможность заботиться о себе, но ни к кому она не относилась так, как к упругой, кругленькой, вкусненькой, как пампушка, Ладушке. Лада умудрилась растревожить не только ее материнский инстинкт, но и материнское чувство: Антонина Федоровна Иванышина впервые в жизни познала материнскую любовь.

– Ладушка, хочешь работать в моей школе? – К тому времени Иванышина стала директрисой, и выражение «моя школа» звучало вполне уместно. – У нас хороший коллектив, опытные педагоги.

– Мамочка, я не смею сказать «хочу». Я могу только мечтать о таком счастье.

– Без прописки тебя могут не оставить, даже если я буду ходатайствовать в горно.

– Я ни о чем не прошу...

– Я знаю, Ладушка, знаю, доченька моя. Надеюсь, мне не откажут, если я лично попрошу для тебя постоянную прописку.

– Мамочка, зачем эти хлопоты? Я поеду, куда направят. В конце концов я комсомолка, и это мой долг.

– И ты оставишь меня?

– Мамочка! – Ладочка повисла на шее, расцеловала. – Ты моя родная. Самая родная, прости, но это вырвалось совершенно инстинктивно.

– Говори мне так всегда. Мне приятно.

– Мамочка моя!..

Таяло, млело, умилялось сердце командира стрелковой роты. А после этого разговора по душам Лада стала еще внимательнее и нежнее.

В прописке не отказали. Хотя дали разрешение не сразу и без особой радости.

– В порядке исключения, Антонина Федоровна. Учитывая вашу личную просьбу.

Через пять дней сияющая Лада примчалась из милиции, потрясая паспортом:

– Мамочка, родная моя! Теперь мы навеки вместе, потому что у меня постоянная прописка. Ура, мамочка!..

На радостях купили шампанского и огромный торт. Пили, плакали и мечтали.

– Мамочка, у нас начинается практика. Можно, я буду ходить в твою школу?

– Конечно, доченька. Привыкай, тебе в ней работать.

– Ура! Я буду преподавать литературу в самой лучшей школе города!

Все эти пиры и радости происходили еще при старых соседях. Потом появился Олег Беляков, затеявший неторопливый и основательный ремонт и каждый вечер регулярно приходящий убирать мусор.

А однажды – только маляры закончили работу – в комнату вошла Лада с незнакомым мужчиной лет за тридцать. Названная дочь несла объемистый тюк, а незнакомец – два больших чемодана. Иванышина сидела у окна – в последнее время она что-то хуже стала видеть – и на руках подшивала своей любимице платье.

– Это мой муж.

– Муж? – улыбнулась Антонина, ожидая неожиданной шутки или какого-нибудь веселого розыгрыша, на которые ее Ладочка была мастерица.

– Паспорт показать, Антонина Федоровна? – Мужчина широко, по-свойски улыбался и вести себя старался тоже по-свойски, но Иванышина видела, что он изо всех сил пытается преодолеть самого себя. – Комнатка светлая, сухая. Ремонт, конечно, неплохо бы проверить, потолок побелить.

– Какой муж, какой ремонт? – Она все еще улыбалась, но уже чуяла что-то очень недоброе. – Почему вдруг – потолок белить?

– А потому, что я, согласно закону, как супруг, прописываюсь на жилплощадь жены. – Незвестный уже справился с первым смущением, преодолел себя: и тон и вид его стали

агрессивными, точно он стеснялся теперь за те первые нерешительные нотки. – Скажете, что не согласны, так вот вам заявление, чтоб, значит, жировочки пополам: мы свои права знаем. А будете спорить – общественность оповестим, что вы мешаете счастью молодой семьи, законно прописанной на этой вот жилплощади с вашего же согласия. Устраивает? Тогда давайте сосуществовать.

Где-то в середине этой деловитой и, видимо, заранее сочиненной речи Антонина почувствовала, будто сухой, твердый, как камень, глинистый ком снова ударил в позвоночник. Точно в то же место, только боль была иная. Пронзительно острая, нестерпимо острая, лишившая ее не сознания, а способности двигаться. Двигаться и говорить, и Иванышина только тихо сипела, наливаясь краской и широко разевая рот.

– Думаю, договоримся, – продолжал незванный гость, оказавшийся вдруг новым хозяином. – Вы с орденами: походите в горком, поплачетесь на тесноту да на нас в придачу, и вам, безусловно, где-то комнату выделят. И все тип-топ, как говорится: вы еще к нам в гости ходить будете, Ладкиного пискуна, который через полгодика на свет явится, нянчить станете. Да еще и нам спасибо скажете, что старость у вас не одинокая...

Он много еще говорил, но говорил один. Лада молчала и изо всех сил старалась не глядеть в ее сторону, а Иванышина, напряженно ловя ее взгляд, пыталась хоть слово из себя выдать, пыталась и не могла. А новоявленный муж все говорил и говорил не переставая: ему тоже было неуютно.

– Вы же Ладку любите, а для нее эта комната – единственный способ счастья добиться. Мы с ней тут еще пару ребят заделаем...

В верхнем ящике старомодного комода, доставшегося ей еще по наряду военкомата при вселении, лежал «вальтер». Отличный офицерский «вальтер», с полной обоймой в рукоятке и запасной рядышком, который она сама сняла с убитого ею обер-лейтенанта во вражеской траншее. Очень уж ладный пистолет был, очень уж гордилась она им и когда-то хотела подарить его лейтенанту Вельяминову. Но лейтенант нашел невесту, исчез навсегда, а ей осталась эта комната, одиночество да памятный «вальтер». Вроде бы уж и не просто личное оружие, которое положено сдавать, а некий символ, связавший воедино ее первый бой в немецких траншеях с ее последней, отчаянной, безоглядной и несостоявшейся любовью. И поэтому когда пришел приказ о демобилизации, она так и не смогла расстаться с трофейным пистолетом. Сунула его с глаз подальше, утопила в ворохе старых бумаг и забыла. А тут вспомнила. Отчетливо, до тяжести в руке.

Только бы встать, только бы сделать три шага до комода, только бы найти в себе силы вытащить ящик. И тогда – всю обойму в наглую, самодовольную, уверенную в своем превосходстве физиономию. Только бы встать, только бы... Она уже не слушала, что говорят, она думала, как сэкономить силы, она приказывала себе встать. Встать. Встать!..

– А переборочку я все же в комнате сооружу. Ладка вас стесняется, а мы молодые, так что природа своего еще требует. Какое нам дано указание? А такое, что нечего нам ждать милостей: взять их – наша задача. Так, мамаша?

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.